

Письмо Богу

— Голки! Голки! Лучший голки для примус! Покупаем голки!

В грязном брезентовом плаще, скроенном из лоскутов старой военной палатки, шаркая обрезанными по щиколотку остатками армейских сапог по грязным лужам, он прошивал своим маршрутом стройные ряды барахольщиков, как иголка с суровой ниткой в руках швеи прошивает толстый ватин фуфайки, сердито бормоча свой клич, который иногда перекрывал гудящий базар, жировавший по пятницам в небольшой Севериновке. Он крутился в толпе целый день, но успевал продать две-три, а если повезёт, то и четыре иголки, которыми хозяйки снимали нагар со своих примусов, всердцах поминая полоумного Лемареса, чей товар гнулся и ломался с третьей попытки воткнуть его в нагоревшую сажу.

Все звали его по фамилии — Лемарес, давно забыв имя. По паспорту он был Янкель Рувимович, но кто заглядывал в тот паспорт и кому придет в голову величать отчеством полоумного оборванца, добывающего хлеб насущный столь несерьёзным занятием? Хотя — правду не скроешь! — без этих „голок” не работал ни один севериновский примус, что уж говорить о двух керогазах, которые имелись в домах уполномоченного заготконторы и председателя поселкового совета.

Никто в Севериновке не интересовался прошлым Лемареса, оно было понятным для большинства жителей, а точнее — меньшинства, которое чудом выжило в последнюю пятницу октября первого года войны.

Из окошка скобяной лавки, в которой Лемарес был и заведующим, и продавцом, и кладовщиком, он увидел, как на мокрую от дождя площадь въехали три крытых брезентом грузовика. Подгоняемые командами эсэсовцев, чей бронетранспортер стоял во главе колонны, чёрная масса полицаев соскочили из кузова и, на ходу клацая затворами винтовок, бросилась врассыпную. Через несколько минут окрестные дома взорвались криком и плачем, а площадь стала заполняться полураздетыми женщинами, стариками, детьми.

Окружив людей караулом с охрипшими злобными собаками, людей погнали на окраину Севериновки, а затем проселочной дорогой к лесу, на опушке которого находился глиняный карьер. Слабое эхо автоматных очередей перекрывал свист ветра, расчищавшего дорогу первому снегу.

Лемарес уцелел случайно, задержавшись в своей лавке. Когда людей сгоняли на площадь, он припал к маленькому окошку, пытаясь отыскать в толпе своих близких, затем метнулся в подсобку, открыл дверь чёрного хода и запетлял огородами к своему дому. А куда ещё бежать человеку в минуты опасности? Конечно, к дому, который обязательно спасёт, спрячет от беды, к дому, где его ждут жена и дети. Но не добежал. В конце соседского огорода его кто-то сбил с ног и затащил в маленький хлев, ещё не остывший от тепла поросят, которых давно забрали в фонд Красной армии. Он очумело вертел головой, а его сосед — инвалид Василий, запечатав ему рот ладонью, тяжело шептал: „Тихо, тихо...”

Он попытался вырваться, но сосед вдавил его в навозную кучу так, что он не мог даже шевельнуть пальцем. Лемарес барахтался, вырываясь из железных объятий, мычал, кусался, плевался — тщетно. Василий был сильнее его. Конечно, надо было закрыть глаза, чтобы не видеть сквозь щель в досках, как полицаи срывают платье с

его Рахели, как огромная оглобля опускается на плечи старшенького Фимки, как истошно барахтается в грязи младшенький Аркаша, которого полицай добивал ударами сапога, ему надо было заткнуть уши, чтобы не слышать в безысходном вое сотен обречённых голоса своих детей, кричавших: „Папа! папа!“ Но он всё видел и всё слышал, умирая от страха и невозможности быть там, рядом с ними.

Удивительно, что он не умер от разрыва сердца. Быть может, потому, что в одно мгновение перестал чувствовать, где оно, и даже много позже, через месяц, год, прикасаясь ладонью к груди, не слышал даже слабых ударов. Сердце умерло.

Происшедшее, похоже, отняло и речь. Целый год он не разговаривал, боялся услышать собственный голос и на все вопросы собеседников покорно кивал, как старая подслеповатая лошадь.

Когда Севериновку освободили, Лемарес, в отличие от других жителей, не пошёл в лес искать общую могилу. Он не хотел верить, что родные его погибли, и долгими ночами тускнеющий мозг сочинял сказку о невероятно счастливом спасении семьи. А почему нет?! Чудеса случались, и многие из них записаны в старинных почитаемых книгах.

В прошлой жизни затерялись многочисленные праздники. Они начинались вечером, когда глава семейства торжественно доставал из укромного места толстый фолиант и читал о Красном море, которое расступилось, спасая избранный народ, про горящий куст, вспыхнувший перед испуганным Моисеем, про неземной красоты храм, выросший среди пыльного Иерусалима, про ангела, остановившего руку Иакова. Почему же Рахель, Фимка и Аркаша не могли жить? Пускай где-то далеко, в других мирах, других странах, без надежды на случайную встречу, но — жить? Что стоило Богу пошевелить только одним пальцем, чтобы они остались живы? Ничего не стоило.

Такие картинки иногда вспыхивали перед глазами в бессонные ночи, а потом тихо гасли, как догоревшая свеча.

После войны Василий умер, надорвавшись на железнодорожных работах, — не посмотрели, что инвалид, гнали всех, кто мог передвигаться, даже на одной ноге. Его жена уехала к дочке в Сибирь, оставив на Лемареса хату в одну комнату с чуланом и хлевом, в котором уже окаменел навоз, некогда спасший ему жизнь. Так он и влачил своё существование в продуваемой ветрами развалюхе, растапливая по вечерам печку, чтобы вскипятить чайник и залить кипятком немножко проса. Да и вещи, оставленные хозяйкой, пригодились: старый кожух Василия, спасавший от холода, щерблённые чашки и три миски, лавка и два табурета — что ещё нужно вдовцу, у которого есть крыша над головой? Рай да и только!

Севериновка долго выползала из разрухи, но приехавшие из района начальники в выцветших гимнастерках с нашивками ранений растормошили людей, и уже через полгода запыхтела паровая лесопилка, заработал тарный цех, а в продуктовой лавке появились чай, сахар и даже хозяйственное мыло. Пускай по карточкам, но появились.

Весной, повинувшись тысячелетнему инстинкту, люди потянулись на огороды. К его развалюхе тоже примыкал небольшой огород, который Лемарес три дня беспокойно обмерял шагами, не понимая, что с ним делать. Вскопать не решился. Не знал, что посадить, да и семян никаких не было, а впрочем, не был он обучен крестьянскому труду, всю жизнь проработав в скобяной лавке. Гвозди, лопаты и грабли были его

стихией, его призванием, от которого он упрямо не желал отступать. Да и судьба не желала, чтобы Лемарес порвал со скобяным делом, подарив со свалки большой моток тонкой проволоки, из которой он и мастерила свои „голки”.

//

Капитан Побойня попал в Севериновку, демобилизовавшись по ранению. За всю войну он не получил от родных ни одного письма и, промокая в белорусских болотах, вгрызаясь в зееловские высоты, стреляя по серым берлинским зданиям, постоянно думал о домашних — жене и дочке, а в короткие минуты фронтовой тишины писал им письмо за письмом, да всё напрасно. Писал он и близким, и дальним родственникам — всем, кого помнил, с просьбой прояснить, подсказать, узнать, живы ли домашние, но в ответ пришло лишь одно короткое письмо от соседей, полное мрачных намёков. И только вернувшись в свой родной Житомир, он узнал, что жену и дочь повесили за пособничество партизанам. Он вначале не поверил — жена была тихой, пугливой женщиной, но на месте его дома одиноко торчала обуглившаяся труба дымохода, а соседка, копавшаяся на соседних развалинах, со слезами и вздохами поведала, как всё случилось на самом деле. Партизаны взорвали цех железнодорожного депо, немцы согнали заложников из ближних домов, а затем прилюдно повесили. В назидание другим. Один из тысячи эпизодов большой войны.

Он не заплакал и даже удивился своему спокойствию. Всё внутри стало каменным, мёртвым. Не хотелось ни думать, ни жить. Полдня он просидел возле этой трубы, раскурив весь запас трофейных папирос, а потом пошёл в комендатуру.

На следующий день ему предложили пойти на работу в милицию — даром, что ранен в плечо. Не в ногу же, ноги были здоровые, а в милиции главное — ноги. Он равнодушно согласился — в милицию так в милицию, но поставил условие, чтобы послали куда-нибудь подальше от родного пепелища, хоть к черту на рога. Так он оказался в Севериновке.

Участок милицейский состоял из старшины Тихоненко да трёх милиционеров. Раны затянулись, плечо почти не ныло даже в дождливую погоду, только внутри всё по-прежнему было холодным, каменным, и не только внутри. Каменным было лицо, на котором ни севериновцы, ни подчинённые ни разу не наблюдали улыбку или иное выражение чувств, каменными были походка, жесты, и даже скупые слова команд или приказов, оттого все побаивались начальника милиции, и, быть может, поэтому местные карманники и жулики перебрались в соседнюю Попельню, где начальство было добродушным, матерщинным и не гнушалось подношений.

///

В то апрельское утро в душе Лемареса что-то дрогнуло. Он как раз подрядился вскопать соседкин огород — базара в тот день в Севериновке не было, а запас „голок” был изрядный, и надеяться, что этот запас прокормит, не было никакой возможности. Конечно, лопата была не его инструментом, но Зинаида, солдатская вдова, была женщиной доброй, гладкой, работала в пекарне, так что за огород полкраюхи хлеба уже можно было мысленно засунуть за пазуху.

Земля была мягкой, как масло, и, вскапывая первую грядку, он почувствовал, что точно так же что-то размораживается в нём самом, становится живым и податливым. Он удивился, скривил губы — что весёлого может быть впереди? Ну, солнце чуточку обожгло землю, согрело руки, лицо, так на то и весна. Нет, всё-таки причина в сло-

вах женщины — торопливых, сыпучих, как горох, который она хотела посадить до Пасхи. Она так и сказала: „до Пасхи”, а он забыл уже не только, как выглядит эта самая Пасха, он забыл само слово, потому что праздники куда-то исчезли, попрятались. Конечно, Зинаида имела в виду свою Пасху, православную, но ведь известно, что перед их Пасхой непременно случается его Пейсах!

Теперь уже заныло в желудке, который раньше мозга напомнил и о яблочном штруделе, и стаканчике вина, и хорошей курице в сладкокислой подливе, что уж говорить об орехах с мёдом! Лемарес удивлённо прислушался (нет, он задрал рубаху, чтобы посмотреть на него!) к желудку, не знавшему последние пять лет ничего, кроме картошки, чёрствого хлеба и крапивного супа, и глупо улыбнулся. Оказывается, мозги находятся не только в голове, малая толика их прячется в желудке, и Бог поступил очень мудро, распределив таким образом человеческие органы. Если забудет голова, желудок обязательно подскажет.

Хорошо, что он вспомнил Пейсах. Всю жизнь он праздновал этот самый главный и светлый день года, как праздновали его родители, родители его родителей, пока война не прервала бесконечную цепь томительного ожидания этого весеннего дня. С нетерпеливым детским желанием ему захотелось вернуться в далёкое прошлое, когда Рахель зажигала пасхальные свечи, а он доставал из шкафа старинную книгу и, водя пальцем, читал нараспев слова положенной по такому случаю молитвы. И ещё он подумал, что если отпразднует в этом году Пасху, то все его близкие, которые теперь живут на небесах, будут радоваться, а он обязательно оставит им на подоконнике своей хибары кусочек яблочного штруделя, который они заберут ночью, когда он заснёт.

Он копал огород, не замечая слез, которые текли по его грязным, щетинистым скулам, шмыгал носом, улыбался и опять плакал. А когда в своих фантазиях вдоволь наигрался картинками прошлого, когда подробно отпраздновал в мыслях все пасхи, которые запомнились ему, начиная с самого детства, что-то холодное ударило в лицо, стирая картину. Он подумал, что это солнце зашло за облака и вновь повеяло холодом зимы, капризно не желавшей уходить, но солнце светило по-прежнему ярко, а озноб вызвала неприятная мысль, от которой невозможно было избавиться.

За какие шиши ты отпразднуешь свой Пейсах, Лемарес? — спросил он себя с горькой усмешкой. Денег у тебя, как говорят, кот наплакал, рубаху свою ты не снимал год, и она пахнет не потом, а мышами и древней лавкой старьёвщика. У тебя нет денег ни на штрудель, который можно заказать той же Зинаиде, ни на бутылочку дешёвого вина, у тебя нет денег даже на баню, которую на прошлой неделе открыл с оркестром сам начальник севериновской милиции Побойня. Ничего у тебя нет, Лемарес, кроме старинной книги с множеством молитв. Так, спрашивается, зачем Он назначил праздник, если Лемарес не может им насладиться? Ведь этот праздник не только для людей, этот день, конечно, придуман в первую очередь для того, чтобы Он мог разглядеть огоньки всех свечей, сосчитать эти огоньки и благословить тех, кто сейчас пытается разговаривать с ним. В этот день Он должен разглядеть свой изрядно поредевший народ и решить, что делать с этим народом завтра — быть по-прежнему суровым или, наконец, простить его.

Когда Лемарес закончил копать, солнце уже закатилось за облака, сдавшись падающей темноте на милость победителя, но это уже было неважно. Главное, он решил, что будет делать сегодня вечером.

Капитан Побойня посмотрел на испуганное лицо старшины Тихоненко и глухим голосом спросил:

— Что там ещё?

— Не знаю даже как сказать, товарищ капитан, — испуганно прошептал старшина, проглатывая окончания слов.

— Не знаешь, так выйди вон и собери мысли в кулак! — посоветовал начальник милиции, но так как старшина продолжал стоять, как пень, который невозможно выкорчевать, раздраженно спросил: — Так что там?

— Похоже, политика, Тихон Андреич! — вытаращив глаза, прошептал старшина.

— Что?! — начальник милиции даже привстал с табурета.

— Сейчас поясню! — торопливо затараторил помощник. — Мы баню открыли на прошлой неделе, соответственно распоряжению из области, профилактика, чтоб против вшей и прочей заразы...

— Ну?! — Побойня даже ударил кулаком по столу.

— Так было распоряжение, чтобы баня работала по воскресеньям! Мы так и сделали, народ доволен, одобряет мероприятие, а утром, когда вы ещё в районе были, пришла тут, понимаешь, кучка жидков и стала требовать, чтоб баня работала по пятницам. Вы представляете?! Это же бунт!

— Зачем по пятницам? — наморщил лоб Побойня.

— Правильно! Ни к чему это по пятницам! Пятница — день рабочий, а воскресенье — самый раз. С утра помылся и целый день свободен! Опять же пиво свежее в чайную завезли!

— А при чём здесь... — Побойня запнулся, но всё же нервно произнёс: — Политика тут каким боком?

— Так всё дело в религии! А где религия, там и политика! У жидков всё не как у людей! Им на наше воскресенье начхать! У них, оказывается, суббота первым делом! Поэтому и требуют пятницу объявить банным днём! Это их раввин из Попельни накручивает, они по пятницам к нему бегают!

— А чего они туда бегают?

— Как чего?! По причине отсутствия в Севериновке религиозного заведения, то бишь синагоги. И, слава богу! Нам только синагоги не хватало! Может, арестовать?

— Кого?

— Раввина! Кто-то же им приказал в баню ходить по пятницам! И то сказать: семнадцать душ, а им воду кипятить, пар давай! Никакого угля не напасёшься!

— Кого семнадцать? — раздраженно спросил Побойня. — Ты внятно можешь изъясняться?

— Жидков, кого ж ещё! Семнадцать душ осталось в Севериновке.

Капитан рванул на себя заедавший ящик письменного стола, достал пачку „Казбека”, добытого в райцентре, не спеша закурил.

Старшина понял молчание капитана по-своему. Думает начальство, и это правильно. Конечно, про политику он, может, и погорячился, но все знают, что любая политика начинается с религии, и пускай эту самую религию сейчас не очень щемят, всё же война прошла, рук не хватает, но бдительность терять нельзя. Последнее дело — терять бдительность. Фашистов разбили, но свой враг не дремлет, выжидает удобного случая, маскируется.

Тихоненко, поёрзав, достал из кармашка гимнастерки четвертак бумаги и, вытянувшись, осторожно положил на краешек стола, присовокупив:

— Это список тех, что баню по пятницам требуют.

— Сколько их до войны было в Севериновке?

— Жидков? Да тыщи две с хвостиком. Немцы всех под корень. В основном в глиняной балке, в лесу. Комиссия ещё приезжала...

— Знаю! — Побойня затащил папиросу, отошёл к окну и ещё раз переспросил. — А на сегодня их семнадцать осталось, что ли?

— Так точно!

— Ладно, — вздохнул капитан. — Ещё раз придут, пошли к чертовой матери! Скажи, что мне начхать, кто там в какой день мыться хочет! Анархию развели! Все советские люди согласно распоряжению правительства должны иметь банный день в воскресенье! И точка!

— Понял, товарищ капитан! — вскинул руку к козырьку фуражки старшина и, потоптавшись на месте, уточнил. — Так без арестов?

— Послушай, старшина, как там у нас со спекулянтами? Говорят, на базаре два мешка сахара продали, а две недели назад тот сахар ещё на складах в Попельне лежал!

Тихоненко побагровел и, опять вскинув руку к фуражке, отрапортовал:

— Вас понял, товарищ капитан! Примем меры! Разрешите идти?

Побойня кивнул, и старшина вышел, зацепившись в сенях ногой за пустое ведро.

Капитан закурил вторую папиросу, осторожно дёрнул раму окна, которая легко распахнулась, впуская в прокуренный кабинет волну пахучего весеннего воздуха. Вдохнув его, Побойня закрыл глаза и попытался представить каменные полки новой бани, жгучий пар, закупоривший парилку, он даже услышал хлесткие удары берёзовых

веников и ему вдруг до жути захотелось быстренько раздеться и голышом влететь в сладкое парное блаженство.

Вздвогнув, он открыл глаза и помотал головой. Расслабился, дурак! Ты б ещё о Пасхе помечтал! Ты б ещё к попу сбегал за советом!

Но баня всё-таки не шла из головы. Надо сходить в воскресенье. Конечно, не в общей толпе, а одному. После закрытия.

V

Лемарес присел к столу, положил перед собой толстый лист жёлтой бумаги, придвинул чернильницу, взял в руки перо, которые одолжил у Зинаиды, и задумался.

Грамоте он знал, и что писать знал — письмо он сочинил молча, перекатывая слова, как камешки, и расставляя в нужном порядке. Также он знал, кому сейчас напишет письмо, и только два вопроса терзали мозг, не позволяя вывести первую букву.

Во-первых, он не знал, на каком языке писать письмо. Конечно, Богу сподручнее читать письмо на идиш, всё-таки он еврейский Бог и ему будет приятно, что Лемарес не забыл родной язык. Но, с другой стороны, письмо могут вскрыть на почте, где не служил ни один еврей, а увидев странные буквы, человек с почты может отнести письмо куда не надо, а ещё — не дай бог! — выбросит послание в мусорное ведро. И отсюда вытекало во-вторых. Предвидя, что адресат может испугать глупых почтальонов, они обязательно отнесут письмо милицейскому капитану с кирпичной мордой и ничего хорошего из его затеи не выйдет. Нет, они обязательно отнесут письмо куда не надо, поэтому начальник милиции, когда откроет его, должен увидеть, что это письмо личное, хорошее письмо, которое обычно пишут близкому родственнику, чтобы рассказать о своей жизни, о погоде, спросить о домашних и высказать небольшую просьбу, которая никоим образом не заденет могущество великой страны. Такое письмо обязательно заклеят и отправят адресату, предварительно поставив нужный штампик — Лемаресу доводилось видеть солдатские треугольники с пометкой „проверено цензурой“.

Итак, он напишет письмо по-русски — это раз. И ещё он придумал обратиться к адресату так, чтобы комар носа не подточил — это два. С адресом на почте они разберутся — не он первый, не он последний, которые лезут туда с многочисленными просьбами. Только он умнее всех. Остальные задирают головы вверх и кланчут, требуют, вымаливают всё, что им взбредет в голову — от здоровья себе до болячек врагам. Что Он может разобрать в этом гармидере? Ничего. А письмо Он прочтёт с удовольствием, потому что письма всегда приятно читать и даже перечитывать. Он будет читать письмо Лемареса под тысячеголосый хор глупых попрошаек, которые надоедают Ему каждый день хуже июльских мух.

Лемарес осторожно воткнул перо в чернильницу, стряхнул повисшую каплю и, пытаясь унять дрожь в неловких иссеченных пальцах, принялся старательно выводить буквы.

«Дорогой товарищ Бог! — писал он, раздумывая, не надо ли в слове „товарищ“ поставить в конце мягкий знак. — Пишет тебе Янкель Лемарес, один из овца твоего стада. Когда евреев было много, ты мог меня не замечать, но сейчас нас осталось очень мало, и ты всех можешь посчитать по пальцам даже с такой большой высоты. Я никогда не надоедал тебе, дорогой товарищ Бог, своими просьбами и

даже сердился, когда другие забивали тебе голову пустяками. А сейчас у меня есть к тебе просьба, и, надеюсь, не очень тяжёлая для тебя. Дело в том, что я остался совершенно один в своей Севериновке, как говорят, полный сирота, и никого из родни, кроме Тебя, у меня нет. Мою жену и детей убили фашисты, и они сейчас находятся возле тебя и, думаю, тоже просят за меня. Итого я совершенно один и зарабатываю на кусок хлеба тяжело. Я продаю иголки для примусов, а ты знаешь, какие деньги за это платят. Это смех, а не деньги. Это слёзы, а не заработок, но больше я ничего не умею и, наверное, таким и умру, когда Ты этого захочешь. Извини, что я так подробно всё описываю, но мне не с кем поговорить. Так вот, я подумал, что уже пришло тепло и скоро Пейсах – наш с Тобой главный праздник. Все люди идут перед этим в баню, надевают чистое бельё, садятся за стол и кушают то, что в раю человек кушает каждый день. А я могу положить в рот только кусочек чёрствого хлеба и запить его своими слезами. Я даже не могу купить маленький кусочек штруделя, чтобы положить его на окно и ждать, когда ночью прилетят моя Рахель и мои ангелочки. Если Ты простил мне мои грехи, то очень прошу выслать мне 50 рублей, чтобы я мог отпраздновать Пейсах, как все люди. До свидания, и я очень жду положительного результата. Всегда твой Янкель Лемарес».

Когда он закончил письмо, в комнате было уже темно. Лемарес беспокойно завертел головой, проковылял к старой тумбе, на которой стояла керосиновая лампа, зажег её и осторожно перенёс на стол. Письмо надо ещё раз прочесть. На всякий случай. Мало ли что!

Шевеля губами, он читал письмо по слогам, кивая головой на каждом слове. Хорошее письмо получилось, толковое, без всяких там экивоков. Грех не ответить на такое письмо.

Лемарес задумался и уже потянулся к пожелтевшему конверту, но прокравшееся в душу сомнение остановило руку. Конечно, с обращением к Всевышнему он придумал удачно, им не к чему будет придраться, также в письме не было ни слова о политике, но как раз неизвестно, как они на это посмотрят. Если посмотреть, так сказать, со стороны, то есть, ни вашим ни нашим, то всё вроде нормально: простой еврей пишет своему Богу письмо и кому какое дело, о чём они договариваются? С другой стороны, государство требует порядка. Бог повыше всяких генералов. А кто такой он, Лемарес? Даже не управдом. А они могут спросить: на каком основании вы, гражданин Лемарес, обращаетесь к Богу через наши головы? Вам что, жить надоело? Он мог бы ответить, что они абсолютно правы, к Богу нужно обращаться в синагоге, в присутствии раввина, но где, извините, синагога и где раввин? Нет, для них это не отговорка. Они любят, чтобы их, извините за выражение, целовали в одно место. Лучше всё-таки дописать два слова, чтобы кое у кого пропала охота задавать ему idiotские вопросы.

Лемарес посмотрел на письмо, примеряясь, сколько слов ещё поместится на толстом листе и, придвинув к себе лампу так близко, что жар от стекла обжигал лицо, тяжело вздохнул:

«Забыл сказать, что советская власть относится к евреям очень хорошо и прошу Тебя поблагодарить за это партийного секретаря Севериновки товарища Жадило, уполномоченного райпотребсоюза товарища Белонога и героя войны начальника нашей милиции капитана Побойню. Это всё».

Вот теперь действительно вышло хорошо. Правда, он засомневался: стоило ли писать дурацкие слова „это всё”, для верности можно было бы вспомнить и заведующего колхозным рынком Жамкало, и директора школы, и фельдшера, и многих других уважаемых людей, которых он видел издали, но лист был исписан и слова „это всё” уместились на самом краешке, в обрез.

Лемарес запечатал письмо, надписал на конверте адрес и, посмотрев в окно, задул лампу.

VI

Капитан Побойня придвинул к себе конверт, на котором крупными печатными буквами было написано „ТОВАРИЩУ БОГУ”, повертел его, затем стал перечитывать письмо, но тут же отодвинул его на край стола и поднял свой тяжёлый взгляд на старшину.

— Кто таков?

Тихоненко втянул голову в плечи и осторожно промямлил:

— Немного сумасшедший. Иголки для примусов на базаре продаёт.

— Что значит „немного сумасшедший”? — раздражённо спросил начальник милиции.

— Бывают буйные, а бывают тихие. Этот тихий. Бормочет себе что-то под нос, не разберёшь что. Живёт один. Ничего подозрительного не обнаружено, товарищ капитан!

— Контузия, что ли?

— У него семью немцы убили. Прямо на его глазах, вот он и... того. Съехал с катушек.

— Как это на глазах? — не понял капитан. — А его почему не расстреляли? Удрал?

— Так он шёл домой, когда евреев начали сгонять, а соседи затащили в хлев и спрятали в навозе. Оттуда он и наблюдал, как жену его и детишек немец в лес погнал. — Подумав, старшина уточнил: — Сумасшедший он, но безвредный. Никого не трогает, напрасно к людям не пристаёт. Разве что когда своими иголками торгует.

Тихон Андреич подошёл к окну, закурил папиросу. Сегодня был первый день, когда весна разгулялась вовсю. И разноголосый караван птиц, прилетевших с юга, и мальчишки, затеявшие свои вечные игры „в Чапаева”, посылали свой последний привет тяжёлой зиме. Но он думал вовсе не о загадочных явлениях природы, он пытался понять, мог ли он, командир разведроты капитан Побойня, смотреть из щели в сарае, как вешают его жену и дочь? Да нет! Нет же! Он бы вцепился в горло этим бешеным псам, рвал бы их зубами, пока и его не остановила бы автоматная очередь. Он бы поступил только так, потому что не боялся смерти, привыкнув к тому, что смерть всегда шагала рядом, дышала в затылок. Как котелок в старом мешке за спиной.

Умереть просто. Иногда даже не больно. Жить с незаживающей раной намного труднее. Да, он не видел, как убивали его родных, но разве был хоть один день, когда он об этом не думал? Не представлял, распаяя воображение, как это произошло? Не домысливал страшные картины их страданий? А теперь он должен судить несчастного полоумного еврея, написавшего письмо Богу? Может, он счастлив, этот

Лемарес, счастлив тем, что не понимает своего сумасшествия, счастлив верой в то, что почта непременно доставит его послание адресату. И впервые Побойня пожалел о том, что Бог — или кто там ещё?! — сохранил ему ясный ум.

— Тихон Андреич, — кашлянул старшина, — может, в область отправить? Пускай сами разбираются, а?

— Кого? — вздрогнул Побойня, выпутываясь из пелены своих размышлений.

— Письмо. И жидка заодно. Налицо религиозная пропаганда! — покачал головой старшина.

— Дурак ты, старшина! — беззлобно вздохнул начальник милиции. Присев к столу, он повертел письмо в руках и уже привычным каменным голосом негромко приказал: — О письме молчать. Сам разберусь. Жидка завтра доставить ко мне.

VII

На следующий день Лемарес стоял в кабинете начальника и, беспокойно озираясь, чувствовал, как потеют ладони, спина и даже живот. Человек за столом смотрел на него долго и пристально, кроша коричневыми пальцами папиросу. Лемарес не обращал внимания на папиросы, он никогда не курил, а вот от кобуры с тяжёлым пистолетом, который лежал на краешке стола, не мог отвести взгляд, и в голове, перемалывающей за день всякую всячину, вертелось одно только слово: „Всё!”

Наконец, Побойня посмотрел на своего помощника и коротко бросил:

— Свободен!

Старшина Тихоненко сдвинул каблуки истоптанных сапог и вылетел в сени, где опять загремело упавшее ведро.

Тихон Андреич еще раз просверлил доставленного тяжёлым взглядом и кивнул на табурет, стоявший посреди комнаты.

— Садись!

Лемарес оглянулся, жалкая улыбка обнажила жёлтые редкие зубы, а голова втянулась в плечи. Но не сел, опасаясь какого-то подвоха.

— Я сказал: сесть! — тихо приказал Побойня, и Лемарес в ужасе опустился на табурет.

Он догадался, что его вызвали из-за письма. Что-то им, наверное, не понравилось, но что?! Чем он их обидел? Что они нашли в письме такого, чтобы хватать его за шкуру и тащить к самому начальнику милиции, которого даже буйные пьяницы обходили третьей дорогой?

— Пасха, говоришь? — внезапно спросил капитан. — Лемарес изобразил подобие улыбки и торопливо закивал — рот словно заклепали железной пряжкой. — А в баню хочешь? — прозвучал следующий вопрос.

Он опять закивал и вдруг застыл, поражённый молниеносной догадкой. Баня! Вот напрасно он про баню написал! Люди на базаре шептались, будто евреи хотят уст-

роить в той бане переворот, поднять восстание, чтобы запретить всем прочим мыться по воскресеньям. Эх, напрасно он про баню! Надо было вычеркнуть. Теперь уже поздно. Всё. Приехали.

Капитан встал из-за стола, приказав жестом Лемаресу сидеть, зашёл к задержанному со спины и, удивляясь себе, едва не положил руку ему на плечо, однако вовремя одумался.

— Вот что я хочу тебе сказать, Лемарес, — изменившимся голосом произнёс он. — Письмо твоё там получили. Конечно, ты поступил неправильно, что бросил письмо в почтовый ящик. В следующий раз приноси письмо лично мне. Понял?

Лемарес, вытаращив глаза, испуганно кивнул.

— Ты что, не можешь говорить?

— Нет, — едва слышно прошептал Янкель.

— Уже пришёл ответ, — Побойня расстегнул кармашек гимнастёрки и выложил на стол купюру в двадцать пять рублей. — Вот он. Там просили передать, чтобы ты больше не морочил ему голову. Нас много, а он один, понимаешь?

Лемарес даже забыл кивнуть, глаза впились в новенькую банкноту. Он боялся, что это видение, мираж, что стоит ему отвести взгляд, как деньги тут же исчезнут.

— Ты меня слышишь?

— Да! — внезапно вырвалось из измученных губ. — Слышу!

— Хорошо, — голос начальника милиции потеплел ещё больше, быть может, оттого, что он впервые услышал голос своего собеседника. — Возьми деньги и спрячь, чтобы никто не видел. Понял? И Пасху свою чтоб отметил тихо, без свидетелей, понял? Это тебе не Первое мая и тем более не день Октябрьской революции. Это... — он не нашёл определения религиозному празднику, который ему вовсе не хотелось унижать, но и высказывать одобрение также не представлялось возможным. — Короче, властям это не интересно. Ну, бери, бери!

Лемарес потянулся дрожащей рукой к купюре, поднес её к глазам и, тихо поцеловав, спрятал куда-то под плащ, в бог весть какой карман.

Побойня хотел спросить, зачем это Лемарес поцеловал деньги, но подсказка выскочила быстрее вопроса, и от этой подсказки у бывшего командира разведроты по спине забегали мурашки. Он, понял, что еврей поцеловал купюру, решив, что её держал в руках сам... ну, не важно!

— Тихоненко! — рявкнул так, что Лемарес подпрыгнул на своей табуретке и зазвенел графин на стеклянной подставке.

Старшина, словно привидение, вскочил в кабинет, вскинув руку к козырьку фуражки.

— Слушаюсь, товарищ капитан!

— Короче так, — строгим тоном произнес капитан, — я побеседовал с товарищем, и он понял свою ошибку.

Лемарес напряжённо пытался вникнуть в суть разговора и на всякий случай кивал головой.

— Понятно, товарищ капитан! — в такт Лемаресу кивнул старшина, хотя из всего сказанного он понял ещё меньше, чем испуганный еврей.

— Он больше никому не будет писать, тем более по известному нам адресу. Так, гражданин Лемарес? — спросил капитан, и Янкель опять испуганно кивнул.

— Поэтому мы закрываем дело, — капитан угрожающе посмотрел на побледневшего старшину, — ставим на нём печать „совершенно секретно” и сдаём в архив. Вот в эту папочку, которую мы положим в сейф. Кстати, какой у нас сегодня день?

— Среда, товарищ капитан! — хрипло отрапортовал старшина, пытаясь понять, что же произошло в кабинете за то короткое время, что он отсутствовал.

— Среда, — утвердительно кивнул Побойня. — Так вот, товарищ старшина! Найди тех... ну, которые хотели мыться в пятницу, вели растопить баню и лично отведи туда помыться гражданина Лемареса.

— Когда... растопить? — губы уже окончательно не слушались милицейского старшину.

— Разве я не сказал? В пятницу! — каменные нотки вновь зазвучали в голосе капитана, и, подумав, он добавил. — В виде исключения, и при условии, что уголь они принесут с собой. Каждый по полведра. Выполнять!

VIII

Самым сложным оказалось разменять двадцать пять рублей, но и тут Бог был на его стороне. Старик Вайнштейн, торговавший на базаре кроличьими шкурками, согласился дать Лемаресу двадцать четыре рубля пятьдесят копеек мелкими купюрами и медяками. Пятьдесят копеек он оставлял себе „за услугу”. Старый дурак! Если б он знал, от кого пришли деньги, он обязан был добавить минимум рубль, но Лемарес промолчал. У жены Вайнштейна ещё тот ротик! Ладно, не обеднеет он на пятьдесят копеек. Пятнадцать рублей Янкель тут же спрятал в коробочку, которую закопал в углу своей хижины, а на оставшуюся сумму пошёл в отчаянный разгул. Во-первых, были куплены новая рубашка и кальсоны, не совсем новые, но стираные раз, не более. Заодно была куплена и толстовка со старыми ботинками. Старьёвщица хотела всучить ещё почти новое пальто и почти задаром, за пять рублей, но на такую трату он не решился — всё равно наступила весна, а следующую зиму он проходит в своем брезентовике. Во-вторых, были куплены свечи, бутылка крепкого портвейна, маленькая, чуть больше напёрстка, баночка с медом. Десяток грецких орехов он тоже удачно выменял на две „голки”. И, наконец, в-третьих, Зина, хотя он и бестолково пытался объяснить ей, как надо делать яблочный штрудель и зачем ему понадобилась белая булка хлеба, сердито махнула рукой, но рубль всё-таки взяла, а уже к вечеру её дочка принесла нечто пахучее, завёрнутое в вощёную бумагу. Он не открыл её, и зачем? Даже безносый мог учуять волнующие запахи неземной вкусности.

Наконец настало утро пятницы, когда старшина Тихоненко мрачно объяснил Лемаресу, что шестнадцать его соплеменников терпеливо дожидаются его возле бани, растопленной по приказу начальника милиции.

Евреи действительно толпились у пока ещё закрытых дверей, и в ногах каждого стояло ведёрко или мешок, наполовину заполненный углём, которые придирчиво проверял кочегар. Как только старшина подвёл Лемареса к очереди, двери распахнулись, и люди робко переступили порог бани.

Да-а-а! Если и создал Бог нечто волшебное, после Эдема, то, конечно, это были не сахар и не халва, не молоко и не хорошая домашняя курица. Это была баня!

Кряхтенье, вздохи и айканье, два часа сотрясавшие парную, казались Лемаресу волшебной музыкой. Он закрывал глаза, вдыхал горячий воздух и раскачивался из стороны в сторону, как птица, собирающаяся взлететь. А каким приятным было бельё, надетое на чистое тело! Как легко несли ноги в тёплых ботинках к дому! Как очистился мир, словно кто-то тряпкой хорошо вымыл окна, отделявшие нас от него! И как пьянил весенний аромат, влетевший в его хибару в распахнутое окно!

И вот настала минута, когда он разложил еду на столе и зажёл свечи. Конечно, штрудель стоял посреди стола и был он разрезан на четыре равные части: Рахели, сыновьям и ему, конечно. И вино было налито в стакан, и книга была раскрыта на нужной странице. И когда он почувствовал, что настала именно эта минута, когда Пасха переступила порог его убогого жилища, Лемарес опустил глаза к странице и... ничего не увидел.

Строки сливались в изрезанные линии, буквы танцевали „фрейлехс“, и тогда он поднял глаза к чёрному закопчённому потолку и зашептал то, что накопилось у него в душе за эти долгие годы страданий.

И Бог внимательно слушал его.

IX

Лето всегда пролетает быстро. Но Лемарес теперь был доволен жизнью. В его взгляде появилось нечто осмысленное, даже ироничное, словно он владел секретом, который был недоступен другим. И с едой было сносно настолько, что будущая зима не пугала. За вскопанный Зинаиде огород он получил мешок картошки, а за рубль Вайнштейн продал ему большую банку тушёного кролика. Конечно, запас чая и сахара потянул на приличную сумму, но до весны человеку что надо? Немного хлеба и дров. Даже за торбочку макарон Зина не взяла деньги, попросив, правда, починить ей ограду. Отчего не починить такой приятной женщине? Она ведь могла попросить кого-нибудь другого, хотя бы плотника Ваньку Клакова, проживавшего через два дома, а просит его, и он долго размышлял, чтобы это значило? Какой такой интерес у Зины в этом деле? Всё-таки жизнь повеселела, особенно после роскошного Пейсаха, который ему подарил Бог. Дело даже не в деньгах, а в невероятном чуде, которое произошло на следующее утро. С вечера он оставил на подоконнике три кусочка штруделя и стаканчик вина, а наутро увидел пустую тарелку с маленькими крошками, а вино было отпито наполовину. Хорошо, что он догадался оставить на ночь окно открытым! Разве не чудо — задрать голову вверх, к спящему солнцу, и знать, что они видят его, слышат, даже когда он разговаривает сам с собой? Так почему он должен показывать им свои беды, свою нищету, убогость старьёвщика, про-

дающего иглы для примусов? Наоборот, он должен не расстраивать их, а успокаивать. Пускай радуются, что у него всё хорошо.

Но вот прибежала осень, за ней пришла зима. Морозы сорок восьмого года были лютыми, и как Лемарес ни крепился, но пришлось отрывать тайник и таскать оттуда рубли — на дрова, на ведро угля, керосин для лампы — да мало ли какие мелочи нужны человеку, чтобы пережить проклятые морозы, от которых по утрам трещат гнилые оконные рамы! Но чем меньше денег оставалось в заветной коробочке, тем чаще приходила в голову тревожная и неприятная мысль о начальнике милиции Побойне, который при близком знакомстве был не таким уж Асмодеем, каким его изображала спекулянтская молва. Но из песни слов не выбросишь. Лемарес ведь попросил у Бога пятьдесят рублей, а капитан передал ему только двадцать пять. О том, что Бог мог сэкономить на бедном еврее четвертак и подумать смешно. Бог может напечатать таких бумажек сколько угодно, он может осыпать ими всю землю, у него денег больше чем листьев на деревьях! Тогда кто же зажилил двадцать пять рублей? Не будем говорить об этом вслух, и без слов понятно, кто съел сметану из горшочка.

Пасха неотвратимо приближалась, а денег в коробочке осталось на одну свечу. Что уж говорить об исподнем, которое за год обветшало, а ботинки уже два раза были в починке и всё равно „просили каши”. И конечно, ни о какой бане речи быть не могло, не говоря уже про яблочный штрудель. Что же делает человек, когда жизнь припирает его к каменной стене так плотно, что дышать становится невмоготу? Правильно, он зовёт на помощь. И кого может позвать на помощь человек, у которого на всей земле не осталось ни одного близкого человека? Правильно. Он зовет на помощь Бога.

X

Сырым мартовским днем старшина Тихоненко, постучав, вошёл в кабинет начальника милиции. Побойня сочинял отчёт за первый квартал, и были в том отчёте замёрзший человек неизвестной личности, три уголовных дела по спекуляции сахаром на севериновском рынке, саботаж райзаготконторы с поставками керосина и просьба выделить отделу милиции одну единицу гужевого транспорта по причине того, что издыхающая трофейная „эмка” не в состоянии добраться по распутице в окрестные сёла, где тоже требуется острый милицейский глаз.

— Что там у тебя? — нетерпеливо спросил капитан, пытаясь очистить перо от бу-
мажных ворсинок.

— Письмо! — выдохнул Тихоненко.

— Какое письмо?

— Опять Лемарес!

— Лемарес? — поморщился Побойня, услышав призабытую фамилию. — Кому письмо? Мне?

— Богу! — шёпотом произнёс старшина и, положив конверт на стол, на всякий случай отошёл на три шага назад.

— Аа-а, — улыбнулся Побойня, прочитав имя адресата. — Опять этот попрошайка? А ты говоришь — сумасшедший! Да он хитрее нас с тобой в тыщу раз! Нет, в этот

раз хрен ему, а не штрудель! — он покрутил головой и махнул рукой. — Свободен! Потом почитаю!

Побойня склонился над рапортом. Ему осталось написать всего-то две фразы о том, что, „идя навстречу международному празднику солидарности трудящихся всех стран под руководством великого Сталина, севериновский отдел милиции обязуется” и так далее, и тому подобное, но что-то сдерживало его. Зуд нетерпения зачесал кисти рук, он стал разжимать пальцы и, отложив перо, непроизвольно потянулся к письму, торопливо вскрыл его и стал читать.

«Дорогой товарищ Бог!

Извини, что я опять надоедаю тебе пустяками. То есть, я хотел сказать, что для меня это совсем не пустяки, а наоборот. Прошлым разом я получил от тебя привет и справил Пейсах не хуже, чем у людей, а потом целый год вспоминал об этом с удовольствием. Так что большое тебе спасибо. И вот опять на носу Пейсах, а у меня опять нет денег, чтоб ещё раз получить удовольствие. Конечно, если бы я в тот раз получил всё, что просил, тогда мне хватило бы на два Пейсах — сколько человеку надо? Человек ведь не лошадь, тем более такой, как я. Но ты понимаешь, кого я имею в виду, потому что писать об этом не надо, хотя мне обидно, что ты ему это простил. Так если ты считаешь меня своим созданием и в силу оного продолжаешь обо мне заботиться, прошу тебя повторно исполнить мою просьбу. И, пожалуйста, не передавай деньги через капитана Побойню, потому что он хотя и хороший человек и герой войны, но половину всегда оставляет себе. Говорят, у них в милиции такая привычка, но причём здесь я? Может, ему тоже надо, так пускай он просит у своего Бога и не лезет в наши отношения. С этим всё. И ещё. Спроси у моей Рахели, или она не против, если я перейду жить к Зине? Дело в том, что у меня пол земляной, а у неё из досок, а терпеть свой ревматизм я уже не могу. Так что это даже не измена. С наилучшим приветом твоё создание Янкель Лемарес. И ещё. Передай моим, что я очень скучаю за ними и тысячу раз целую. Теперь всё”.

Страшный крик потряс здание милиции, сдул паутину с углов и даже заставил закачаться тяжёлую лампу под потолком. Старшина Тихоненко, влетев в кабинет начальника, увидел разъяренную физиономию Побойни, оравшего благим матом:

— Немедленно! Ко мне! Лемареса, мать его!..

XI

Те из севериновцев, что привыкли вставать с первыми петухами, в ту предпасхальную пятницу наблюдали странную картину. По обветренной площади местечка нестройно шагали евреи во главе с Лемаресом, который то и дело оглядывался на своё стадо. Похоже, он беспокоился, чтобы никто не отстал, громко не разговаривал, не привлекал к себе ненужного внимания, но больше всего тревожила мысль о пятидесяти рублях, которые он, завязав в холщовую тряпку, спрятал в самый глубокий карман своего брезентовика. Конечно, среди тех, кого он вёл сейчас в баню, явных злодеев не было, если не считать хромого Зяму, который имел привычку у всех всё одалживать и никогда не отдавать даже после третьего напоминания, и старика Вайнштейна с его ехидной улыбочкой скорняка, всё же тревога не проходила, и поэтому Лемарес решил, что будет правильным, если в баню он войдёт последним, а выйдет из неё первым. Так надёжнее. И, вообще, не надо думать о плохом в такой чудесный день. Если Бог призвал к порядку такого страшного человека, как Побойня, который, кроме крика и матюков, ничему не научился в этой жизни, если Он приказал

капитану растопить евреям баню, а Лемаресу отдать все положенные деньги до последней копейки, то от других неприятностей Он защитит наверняка.

Отряд подошёл к низкому зданию, из высокой трубы которого уже валил пахучий дым. В руках каждого еврея была охапка поленьев, потому что уголь в Севериновке закончился ещё в феврале.

Анатолий КРЫМ (Киев).